

ТРИ

Обидно было не обзавестись к вечеру никакими вескими соображениями. Например, женщины беднее мужчин по тем-то и тем-то причинам. Возможно, стоит отказаться от поисков правды, ведь вместо нее на голову изливается поток мнений — пылающий, словно лава, и мутный, словно сточная вода. Лучше задернуть шторы, сосредоточиться, зажечь лампу, сузить поле поиска и спросить у историка, который занимается не мнениями, а фактами: в каких условиях жили женщины в Англии во времена, положим, королевы Елизаветы?

Удивительно, что ни слова из этих бесконечных томов не принадлежало женщинам — в то время как любой мужчина, судя по всему, способен написать песню или сонет. Так как же жили женщины, спросила я себя; ведь литература подвластна воображению и, в отличие от науки, не существует отдельно, подобно камешку на дороге; литература подобна паутине и так же, как паутина, связана с жизнью — непрочной, но тщательно. Зачастую эта связь почти незаметна: пьесы Шекспира словно бы держатся сами по себе. Но если потянуть паутину, зацепить, надорвать,

то вспоминаешь, что ее соткали не бестелесные существа, а живые люди и что она охватывает самые что ни на есть прозаические предметы — здоровье, деньги, наши дома.

Поэтому я отправилась к полке с историческими трудами и открыла одну из последних работ профессора Тревельяна — «Историю Англии». Снова обратилась к разделу «Женщины» и параграфу «Положение женщин». Право мужчин бить своих жен, писал профессор, было закреплено законодательно и открыто применялось как высшим, так и рабочим классом... Аналогично, если дочь отказывалась выходить замуж за выбранного родителями джентльмена, ее могли посадить под замок и подвергнуть побоям — при полном одобрении общественного мнения. Брак был основан не на личной привязанности, а лишь на семейной выгоде, особенно в «благородных» высших классах... Помолвку нередко заключали, когда жених или невеста (или оба) еще лежали в колыбелях, а свадьбу праздновали, как только за ними переставали ходить нянюшки. Здесь профессор Тревельян писал о 1470-х годах — вскоре после чосеровской эпохи.

Следующее упоминание о положении женщин относится ко времени Стюартов — то есть двести лет спустя. В то время, пишет профессор Тревельян, женщины высшего и среднего класса по-прежнему почти никогда не выбирали себе мужей, а когда им назначали супруга, он становился их властелином и победителем — в той мере, в какой это определял закон и обычай. Однако, продолжает профессор, героини пьес Шекспира и женщины, описанные

в подлинных мемуарах XVII века (например, Верни и Хатчинсона), были наделены и характером, и индивидуальностью. В самом деле, если вдуматься, Клеопатра — женщина с характером, леди Макбет делала все по-своему, а Розалинда, надо понимать, была очень хороша собой. Профессор Тревельян совершенно прав, говоря, что у героинь Шекспира есть и характер, и индивидуальность. Даже не будучи историком, можно утверждать, что женщины, подобно маякам, освещали творчество поэтов всех времен: у драматургов — Клитемнестра, Антигона, Клеопатра, леди Макбет, Федра, Крессида, Розалинда, Дездемона, герцогиня Мальфи; у прозаиков это были Милламанти, Кларисса, Бекки Шарп, Анна Каренина, Эмма Бовари, мадам Германт. С ходу вспоминается множество имен, и все это — героини отнюдь не бесхарактерные или безликие. В самом деле, если бы женщина существовала лишь в книгах, написанных мужчинами, ее бы наделяли огромной важностью, она была бы бесконечно многообразна: отважна и зла, блистательна и убога, великолепна и уродлива, величием сравнима с мужчинами — а то и превосходит их. Но это лишь литература. На деле же, как пишет профессор Тревельян, ее запирали и избивали.

Таким образом, перед нами предстает невероятно сложное создание. Теоретически, она наделена безграничной властью, на деле — не имеет никакого значения. Ею наполнена поэзия, но для истории ее не существует. В книгах она властвует над королями и завоевателями, в реальности же

она рабыня любого, кто по воле родителей окольцевал ее. Самые вдохновенные строки, самые глубокие мысли слетают с ее уст — в литературе, а в жизни она почти не умеет читать и писать и принадлежит своему мужу.

Если сначала почитать историков, а потом поэтов, складывается довольно причудливый образ: гусеница — но с орлиными крыльями; олицетворение жизни и красоты — нарезает сало на кухне. Но эти удивительные химеры в реальности не существуют. Чтобы воплотить ее в жизнь, надо мыслить и поэтически, и прозаически: то есть помнить, что перед нами миссис Мартин тридцати шести лет, в синем платье, черной шляпке и коричневых туфлях, и при этом видеть в ней фиал, в котором бродят и мерцают невиданные силы. Приложить этот метод к елизаветинской женщине, увы, не выйдет: нам недостает фактов. У нас нет никаких достоверных и подробных сведений. Историки практически ее не упоминают. Я обратилась к профессору Тревельяну, чтобы выяснить, как он видит историю. Его видение стало очевидно из заголовков:

«Поместный суд и методы неогороженного земледелия»
 «Цистерцианцы и овцеводство»
 «Крестовые походы»
 «Университет»
 «Палата общин»
 «Столетняя война»
 «Война Алой и Белой розы»

«Ученые эпохи Ренессанса»
«Роспуск монастырей»
«Аграрные и религиозные смуты»
«Происхождение военно-морской мощи Англии»
«Армада»

...и так далее. Изредка упоминались какие-нибудь женщины — их звали то Элизабет, то Мэри, и были они либо королевами, либо знатными дамами. Но у женщин среднего класса, наделенных лишь умом и характером, не было ни малейшего шанса поучаствовать в каком-либо из великих событий, которые только и интересуют историков. Не встретим мы ее и в анекдотах. Обри* ее не упоминает. Она не пишет мемуаров и почти не ведет дневников: осталась лишь стопка писем. Она не написала ни одной пьесы или стиха, по которым мы могли бы составить о ней представление. Почему бы какой-нибудь юной отличнице из Ньюхема или Гертона не собрать информацию: в каком возрасте она выходила замуж, сколько детей в среднем имела, как выглядел ее дом, была ли у нее своя комната, готовила ли она, были ли у нее слуги. Все эти факты кроются, вероятно, в метриках и конторских книгах; жизнь простой женщины времен Елизаветы рассыпана по углам — осталось кому-нибудь собрать ее воедино и составить книгу.

* Имеется в виду Джон Обри, английский философ и писатель, который в конце XVII века опубликовал книгу «Краткие жизнеописания» биографий известных британцев. *Прим. пер.*

Глядя на книжные полки в поисках несуществующих книг, я думала, что не осмелилась бы предложить студентам знаменитых колледжей переписать историю — пусть она и кажется односторонней и оторванной от действительности. Но почему бы не выпустить своего рода дополнение к истории и назвать его как-нибудь невнятно, чтобы женщина могла спокойно там фигурировать? Иногда мы краем глаза замечаем женские силуэты — они проходят мимо и как будто украдкой подмигивают, улыбаются или утирают слезу. У нас достаточно биографий Джейн Остин, влияние трагедий Джоанны Бейли на поэзию Эдгара По также изучено неплохо, а лично я вообще была бы не против, если бы таинственные дома Мэри Рассел Митфорд закрыли для посещения лет на сто. Плохо то, думала я, вновь повернувшись к полкам, что о женщинах до XVIII века нам ничего не известно. У меня даже нет никакого образца, который можно было бы изучать.

Я спрашиваю, почему женщины в елизаветинскую эпоху не писали стихов, а сама даже не знаю, какое образование они получали, учили ли их писать, были ли у них свои комнаты, рожали ли они до двадцати одного года; в общем, чем они занимались с восьми утра до восьми вечера? Денег у них, очевидно, не было; согласно профессору Тревелиану, их насильно выдавали замуж прямо из детской, лет в пятнадцать-шестнадцать. Странно было бы, конечно, если бы одна из них в такой обстановке взяла да и написала шекспировскую пьесу. Мне вспомнился один пожилой епископ,

ныне покойный, который утверждал, что ни одной женщине, когда-либо жившей или живущей, не суждено обладать шекспировским даром. Он писал об этом в газеты. Также он ответил одной леди, которая обратилась к нему за советом, что кошки после смерти не попадают в рай, хотя и у них, безусловно, в некотором смысле есть душа. Поговоришь с таким мудрецом, и думать не надо! Воистину человеческое невежество безгранично. Кошки не попадают в рай. Женщинам не дано писать шекспировские пьесы.

Глядя на полку с книгами Шекспира, сложно было не признать, что хотя бы в одном старый епископ оказался прав: во времена Шекспира ни одна женщина не могла написать шекспировскую пьесу. Поскольку с фактами негусто, давайте вообразим, что у Шекспира была необычайно одаренная сестра — например, по имени Джудит. Сам Шекспир, скорее всего, учился в грамматической школе* (его мать получила наследство), где познавал латынь — Овидия, Вергилия и Горация, а также основы грамматики и логики. Он был, как мы знаем, неуправляемым мальчишкой: охотился на кроликов, возможно, стрелял оленей и слишком рано женился на соседской женщине, которая чересчур быстро родила ему ребенка. В результате этой эскапады ему пришлось отправиться в Лондон на заработки. В нем явно уже пробудилась

* В грамматических школах в Великобритании традиционно преподавали латынь, начатки древнегреческого и античную литературу.
Прим. пер.

любовь к театру: для начала он подрабатывал тем, что принимал лошадей у служебного входа. Вскоре он уже работал в самом театре, стал успешным актером и жил в самом сердце Вселенной — знакомился и общался со всеми, реализовывал свой талант на подмостках, оттачивал остроумие на улицах и как-то даже попал в королевский дворец.

Тем временем его необычайно одаренная сестра оставалась дома. Она была такой же авантюристкой, как брат, такой же выдумщицей и так же мечтала увидеть мир. Но ее не отдали в школу. У нее не было шанса выучить грамматику и логику — не говоря уж о Горации или Вергилии. Иногда она брала в руки книгу (не свою, брата) и читала несколько страниц. Но тут входили родители и вели ей идти штопать чулки, готовить рагу и не забивать себе голову книжками да бумажками. Они были строги, но из лучших побуждений, поскольку были разумными людьми и хорошо понимали, какая жизнь ожидает их любимую дочь. Она наверняка была зеницей отцовского ока. Возможно, она украдкой царапала что-то на бумаге, спрятавшись в сарае для яблок, но тщательно прятала или даже сжигала свои записи. Однако вскоре ее, совсем юную, обручили с сыном соседского торговца шерстью. Она плакала и кричала, что этот брак ей ненавистен, и за это отец побил ее. Потом он уже не ругался, а молил не причинять ему боль, не позорить его. Прослезился, обещал подарить ей бусы или нижнюю юбку. Как можно было послушаться? Как разбить отцовское сердце?

Но собственный талант заставил ее собрать узелок с пожитками и как-то летней ночью вылезти из окна и отправиться в Лондон. Ей не было еще и семнадцати, а голос — музыкальнее, чем у птиц в придорожных кустах. Подобно брату, она обладала идеальным слухом в том, что касалось слов. Подобно ему, любила театр. Стоя у дверей, она заявила, что хочет играть на сцене. Мужчины расхохотались ей в лицо. Хозяин, толстый губошлеп, помирая со смеху, выдавил из себя что-то о танцующих пуделях и женщинах на сцене. Женщины неспособны играть, заявил он. Намекнул — понятно на что. Учеба была ей недоступна. Нельзя было даже пообедать в кабаке или пройтись по улице ночью. Но ее снедала страсть к литературе, желание изучать людей, их характеры. И наконец — все-таки она была юна и хороша собой: серые глаза и брови дугой, как у Шекспира, — наконец, Ник Грин, глава труппы, сжалился над ней; она забеременела от него и потому — кто измерит жар и гнев таланта, оказавшегося в плену женского тела? — покончила с собой зимней ночью и ныне погребена где-то под перекрестком у паба «Слон и замок», где теперь останавливаются омнибусы.

Думаю, именно так бы разворачивались события, если бы современница Шекспира оказалась наделена шекспировским талантом. Но лично я согласна с покойным епископом — это просто невозможно. Шекспировский гений не мог зародиться среди необразованных слуг и рабочих. Он не родился в Англии среди саксов и бриттов — нет его среди рабочих и в наши дни. Так как же этот талант мог принадлежать

женщине, которая, согласно профессору Тревелияну, трудилась с самого детства, которую заставляли работать родители, закон и традиции? Разумеется, какие-то таланты женщинам присущи — как случаются они и в рабочем классе. Порой на свет появляется очередная Эмили Бронте или новый Роберт Бёрнс. Но им не удастся проявить себя. Когда я читаю, как топили очередную ведьму, об одержимых, травницах или даже просто матерях талантливых мужчин, я сразу думаю, что речь идет о несбывшейся писательнице, поэтессе, немой и бесславной Джейн Остин, еще одной Эмили Бронте, которая сходила с ума на болотах или бродяжничала, и кривлялась под пытками собственного таланта. Я бы даже предположила, что авторы многих стихов, подписанных Анонимом, — женщина. Эдвард Фитцджеральд полагал, что именно она сочиняла баллады и народные песни, напевала их детям за прялкой на протяжении долгих зимних ночей.

Правда ли это, неизвестно, но верно то, что талантливая женщина в XVI веке наверняка сошла бы с ума, покончила с собой или доживала бы одна на окраине, то ли ведьма, то ли чародейка, всеобщее пугало и посмешище, и выдуманная мною биография сестры Шекспира только укрепляет в этом мнение. Не нужно быть психологом, чтобы понять, что одаренная поэтесса в то время была бы подвергнута остракизму окружающих и сходила бы с ума от внутренних противоречий, так что ей вряд ли удалось бы сохранить рассудок и здоровье. Чтобы добраться до Лондона, заявиться в театр, обратиться к главе труппы, девушке того

времени пришлось бы совершить над собой настоящее насилие и пережить невероятные муки. Сейчас это кажется непонятным, ведь целомудрие — бессмысленный фетиш, но тогда ценился крайне высоко. В те времена (да и сейчас порой) ему придавалось религиозное значение, и понятие целомудрия было так переплетено с самой женской сутью, что требовалась огромная, редкая смелость, чтобы оборвать эти путы. Чтобы вести в Лондоне XVI века привольную жизнь поэта и драматурга, женщине пришлось бы ежедневно переживать такой стресс, какой мог бы убить ее. А если бы она выжила, из-под ее пера выходили бы искаженные, болезненные вещи, плоды больного разума. И уж конечно, она не подписывала бы свои работы, подумала я, глядя на полку, где не было ни одной женской пьесы. Она бы наверняка прибегла к этой защите.

Призраки целомудрия требовали от женщин анонимности вплоть до XIX века. Каррер Белл, Джордж Элиот, Жорж Санд — жертвы (судя по их работам) внутренней борьбы тщетно пытались прикрыться мужскими именами. Они отдавали дань традиции, если и не созданной, то оберегаемой противоположным полом (наивысшее величие женщины состоит в том, чтобы о ней не говорили, сказал Перикл — о котором, кстати, говорили довольно много). Согласно этой традиции, женская слава позорна. Анонимность у женщин в крови. Их по-прежнему одолевает желание скрыть лицо. Даже сейчас они не так озабочены славой, как мужчины, и спокойно пройдут мимо столба или

камня, не желая непременно вырезать на нем свое имя, — в отличие от Альфа, Берта или Чеза, которых одолевают собственнические инстинкты, стоит пройти мимо хорошенькой женщине или даже собаке (*Ce chien est a moi* — эта собачка — моя). Разумеется, это может быть и не собака, думала я, вспоминая Парламентскую площадь, аллею Победы в Берлине и другие названия; это может быть земля или негр. Великое преимущество женщины кроется в том, что она может спокойно пройти мимо самой хорошенькой негритянки, не пожелав непременно сделать из нее достойную англичанку.

Женщина, которую угораздило родиться с поэтическим даром в XVI веке, была несчастна и обречена на борьбу с самой собой. Условия жизни и сами инстинкты ее противились тому состоянию рассудка, которое требуется для внутренней свободы. Какое же состояние рассудка требуется для творчества, спросила я себя. Можно ли определить состояние, открывающее путь этой странной деятельности? Я открыла том трагедий Шекспира. В каком состоянии пребывал он, когда писал «Короля Лира» или «Антония и Клеопатру»? Определенно, это было наиболее подходящее для поэзии состояние рассудка. Но сам Шекспир ничего об этом не писал. Мы лишь случайно знаем, что он «не вычеркивал ни одной строчки». Вплоть до XVIII века творцы не рассуждали о своем творчестве. Возможно, эту традицию начал Руссо. В любом случае, лишь к XIX веку самосознание развилось до такой степени, что мужчины начали

рассуждать об этом в исповедях и дневниках. Создавались их жизнеописания, а после смерти их письма публиковали. Хотя мы и не знаем, через что прошел Шекспир, пока писал «Короля Лира», мы знаем, как Карлейль писал «Французскую революцию», каково было Флоберу работать над «Мадам Бовари» и что испытывал Китс, когда пытался писать стихи и противостоять грядущей смерти и безразличию общества.

Бесконечные современные работы, посвященные исповедям и самоанализу, говорят нам, что гениальные труды требуют колоссальных усилий. Все восстает против целостности и полноты этих трудов. В первую очередь мешают материальные обстоятельства. Собаки лают, люди отвлекают, здоровье подводит, а еще надо зарабатывать деньги. Особенно невыносимыми эти обстоятельства делает пресловутое безразличие общества. Обществу безразличны стихи, романы и истории. Ему все равно, найдет ли Флобер нужное слово, выверит ли Карлейль очередной факт. И уж, конечно, оно не будет платить за то, в чем не нуждается. Поэтому писатели — Китс, Флобер, Карлейль — страдают от бесконечных помех и препятствий, особенно в юные и самые творческие годы. В этих трудах слышны проклятия и плач. «Великие поэты умирают в муках»^{*} — вот их печальный лейтмотив. Чудо, если вопреки препонам книга

^{*} Цитата из стихотворения Уильяма Вордсворта «Решимость и независимость». *Прим. пер.*

все же появится на свет, и уж наверняка она будет немного увечной, чуточку неполноценной.

Но женщине все эти тяготы давались куда сложнее. Во-первых, вплоть до самого XIX века нельзя было и помыслить о своей комнате, а уж тем более — тихой, разве что повезло родиться в очень богатой или высокопоставленной семье. Поскольку собственного дохода (чей размер полностью зависел от отца) едва хватало на одежду, ей недоступны были утешения, которыми радовали себя малоимущие Китс, Теннисон или Карлейль, — пешая прогулка за городом, поездка во Францию, отдельное жилье, пусть скромное, но все же спасающее от семейной тирании. Материальные трудности были мучительны, но еще хуже оказывались нематериальные. Китсу, Флоберу и прочим гениям приходилось сражаться с равнодушием целого мира, но женщина имела дело не с равнодушием, а с враждебностью. Им общество говорило: пиши, если желаешь, мне это безразлично. Женщину оно осыпало насмешками: писать вздумала? Да кто ты такая? Здесь бы пригодились мнение психологов из Ньюхема и Гертона, подумала я, глядя на пробелы на полках. Раз можно измерить, как влияет на крысу потребление первоклассного молока в сравнении с молоком обычным, наверняка можно измерить, как подобное противодействие губительно влияет на творческий ум. В первом случае рядом ставят две клеточки с крысами, и одна из них всего пугается и хиреет, а вторая растет, лоснится и нагнет. А какую же пищу получают женщины-творцы?

Тут мне припомнился чернослив с кремом. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было открыть вечернюю газету и прочесть мнение лорда Биркенхеда, который считает, что... Впрочем, не буду утруждать себя переписыванием мнения лорда Биркенхеда. Не будем касаться и высказываний декана Айнджа. Пусть эскулапы с Харли-стрит провозглашают свои идеи у себя на Харли-стрит — меня это не касается. Прочитирую все же мистера Оскара Браунинга*, который в свое время был важной персоной в Кембридже и экзаменовал студентов в Гертоне и Ньюхеме. Мистер Оскар Браунинг обыкновенно утверждал, что в своей жизни он видел множество студенческих работ и «вне зависимости от оценок самая умная из женщин никогда не дотянет до худшего из мужчин». Высказав это соображение, мистер Браунинг возвращается к себе в комнаты — и этот эпизод делает фигуру мистера Браунинга понятной, живой и даже не лишенной величия — и видит, что на диване лежит конюх: худой, словно скелет, бледные щеки запали, зубы почернели, руки-ноги почти не слушаются. «А это Артур, — говорит мистер Браунинг. — Чудесный юноша, а какой благородный ум». Мне всегда казалось, что два этих факта чудно дополняют друг друга. По счастью, в наш биографический век у нас есть возможность сопоставлять факты

* Оскар Браунинг (1837–1923) — английский историк и исследователь литературы. Профессор Кембриджского университета. *Прим. ред.*

подобным образом и судить великих мужчин не только по их делам, но и по поступкам.

Теперь это стало возможным, но с полвека назад подобные высказывания известных людей производили разрушительный эффект. Предположим, отец не желает, чтобы его дочь стала писателем, художником или ученым — из наилучших побуждений, конечно. Посмотрим, что думает на этот счет мистер Оскар Браунинг, говорит он. А ведь высказывается далеко не только мистер Оскар Браунинг. Есть «Субботний обзор», есть мистер Грег («Сама суть женщины, — пишет мистер Грег, — выражается в подчинении мужчине и опоре на него»), есть целый корпус мужских мнений, которые сходятся в одном: в том, что касается интеллекта, от женщин ждать нечего. Даже если отец и не зачитывал эти высказывания вслух, любая девушка могла прочесть их самостоятельно, и это не могло не повлиять на ее настрой и работу самым губительным образом. Приходилось все время бороться с высказываниями вроде: ты не можешь того, не способна на это. Возможно, в писательском ремесле этот недуг уже преодолен: есть же, в конце концов, выдающиеся женщины-писатели. Но женщинам-художникам должно быть по-прежнему нелегко, не говоря уж о женщинах-музыкантах. В наши времена женщина, сочиняющая музыку, находится в том же положении, что и актриса в эпоху Шекспира. В выдуманной мной истории о сестре Шекспира Ник Грин заявил, что женщина на сцене — все равно что

танцующая собака. Двести лет спустя Джонсон сказал то же самое о женщине за церковной кафедрой. Я открыла книгу о музыке, где по отношению к сочинительницам музыки вновь употреблялось то же выражение — в 1928 год от Рождества Христова. «Что касается мадемуазель Жермен Тайфер, можно лишь повторить афоризм доктора Джонсона о женщинах, сочиняющих проповеди, но в музыкальных терминах: женщина, сочиняющая музыку, подобна собаке, гуляющей на задних лапах. Получается так себе, но чудо, что вообще получается!» Как точно история воспроизводит саму себя.

Таким образом, становится ясно, что художественные наклонности у женщины не поощрялись и в XIX веке, подытожила я, захлопнув мистера Оскара Браунинга. Напротив, ее осаживали, обрывали, отвергали. Все силы у нее уходило на то, чтобы доказывать и опровергать. Здесь мы вновь сталкиваемся с интереснейшим мужским комплексом, который так влияет на жизнь женщин, — нутряной потребностью превосходить: важно даже не то, что ОНА неполноценна, а то, что ОН — главный. Это заставляет его стоять стражем на защите искусств, политики и прочих аспектов жизни, даже если угрозы его положению никакой, а просительница унижена и послушна. Даже леди Бессборо, страстно увлеченная политикой, смиренно склоняет голову и пишет лорду Грэнвиллу Ливсон-Говеру: «...несмотря на мою страсть к политике и беспрестанные рассуждения о ней, я совершенно согласна с вами, что женщине

не пристало вмешиваться в такие дела, а дозволяется лишь высказывать свое мнение (если к ней обращаются)». Далее она употребляет свой энтузиазм там, где он не встретит никаких противоречий, а именно — на рассуждения о важнейшем событии, первой речи лорда Грэнвилла в Палате общин. Странное дело, подумала я. История мужского противостояния женской эмансипации оказывается чуть ли не интереснее самой эмансипации. Если бы какая-нибудь студентка Гертона или Ньюхема собрала примеры и вывела из этого теорию, могла бы получиться небезынтересная книга — вот только студентке потребовались бы толстые перчатки и золотой судебный барьер.

Теперь это кажется забавным, а тогда все было серьезно. Мы собираем подобные высказывания под грифом «чепуха», чтобы посмеяться с друзьями летним вечером, а некогда они вызывали слезы. Многие ваши бабушки и прабабушки заливались слезами, а Флоренс Найтингейл и вовсе стонала в агонии. Кроме того, вам-то хорошо — вы получили образование, у вас есть своя комната (или хотя бы спальня), и вы вольны утверждать, что подлинный талант выше подобных обвинений и не должен обращать на них внимания. К сожалению, именно талантливые люди больше всего считаются с чужим мнением. Вспомните Китса. Вспомните, что значит на его могиле*. По-

* Китс пожелал, чтобы на его могиле не было указано его имя. На ней высечена эпитафия, которую он сам же и написал: «Здесь покоится тот, чье имя было написано на воде». *Прим. ред.*

думайте о Теннисоне — впрочем, к чему искать подтверждения неопровержимому факту: творческие люди зависимы от общества. Литература усеяна костями тех, кого слишком задевали чужие слова.

Возвращаясь к исходному вопросу о том, какое все же состояние духа подходит для творчества, я подумала, что подобная чувствительность вдвойне плоха тем, что для абсолютного высвобождения творческого потока разум должен раскалиться добела и сиять подобно шекспировскому, когда тот писал «Антония и Клеопатру». Не должно быть никаких препятствий, никаких инородных примесей.

Хотя мы и утверждаем, что ничего не знаем о шекспировском разуме, самими этими словами мы уже высказываемся о нем определенным образом. Возможно, мы так мало знаем о Шекспире потому, что он скрывал от нас свои горести, обиды и антипатии — в отличие от Джона Донна, Бена Джонсона или Мильтона. Внезапные откровения не напоминают нам об авторе. Стремление протестовать, поучать, жаловаться, сводить счеты, призывать мир в свидетели своему несчастью — все перегорело в его творческом пламени. Потому и поэзия льется из него свободно и беспрепятственно. Если кто и сумел выразить себя полностью, то это был Шекспир. Если чей разум когда-либо и полыхал свободно, то — Шекспира. И я вновь обернулась к книжным полкам.